

## Между интуицией и рацией. Исследовательские стратегии в этнологической науке

**Аннотация:** Хотя структура и содержание «этнографического поля» радикально трансформировались, а сама этнологическая наука, очевидно, переориентируется с этнической на культурно-антропологическую орбиту, миф об этнографии как преимущественно полевой дисциплине сохраняет свое инерционное влияние в профессиональной среде. Однако научные практики – в прошлом и настоящем – свидетельствуют, скорее, о множественности исследовательских стратегий (в том числе, различных их комбинаций), чем о доминировании единственной. Эффективность той или иной стратегии определяется ее научной результативностью. В авторской гипотезе эмпирика и теоретическое обобщение – это не различные этапы, а качественно различные формы научной деятельности. Факты не предшествуют теории, а ровно наоборот – теория, задавая угол зрения и структурируя наше восприятие действительности, формирует предметное поле науки. Фактов вне теории не существует. Но и сама теория имеет отправной точкой индивидуальный дотеоретический опыт исследователя. Наши идейно-политические убеждения, наш культурный багаж и даже наш индивидуальный психологический профиль и личностный темперамент если не предопределяют жестко, то предрасполагают к выбору определенной исследовательской позиции. Таким образом, избранная исследователем стратегия есть проекция не столько рациональных калькуляций, сколько интуитивного (бессознательного) тяготения. Объективные обстоятельства – идейно-политический и культурно-ценностный контексты, уровень развития научной дисциплины, тип социализации – неизбежно проходят цепь опосредований через человеческую психику. Лишь в этом случае они способны оказать влияние на научные приоритеты исследователя.

**Ключевые слова:** история отечественной этнологии, этнографическое поле, стратегии в этнологии, дискурс о народности, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Дмитрий Николаевич Анучин, сибирское «областничество», Юлиан Владимирович Бромлей, собирательская этнография, функционализм в этнологии.

**Review:** Although the structure and content of the “ethnography field” has radically transformed and the science of ethnography itself, clearly, is reorienting from the ethnic to the cultural-anthropological sphere, the myth of ethnography as a predominantly field discipline maintains its inertial influence in the professional environment. However, scientific practices – in the past and currently – attest to a multitude of research strategies (including their diverse combinations), rather than to the domination of a single one. The efficacy of one or another strategy is defined by its scientific fecundity. In the author’s hypothesis, empiricism and theoretical generalisation are not different stages, but are qualitatively diverse forms of scientific activity. Facts do not precede theory, but exactly the opposite: theory, setting forth an observation angle and structuring our perception of reality, shapes the subject field of science. Facts outside of theory do not exist. Yet the theory itself also has a starting point, which is based on a scientist’s pre-theoretical experience. Our ideological and political beliefs, our cultural baggage, and even our individual psychological profile and personal temperament, if do not strictly define, at least predispose towards the choice of a particular research position. Thus, a scientist’s chosen strategy is not so much a projection of rational calculations, as much as an intuitive (unconscious) inclination. Objective circumstances – ideological and political context, cultural and moral backgrounds, development level of the scientific discipline, type of socialisation – inevitably pass a succession of mediations through the human mentality. Only in this case can they have an influence on a researcher’s scientific priorities.

**Key words:** Dmitry Nikolaevich Anuchin, Nikolai Nikolaevich Miklouho-Maclay, nationality discourse, strategies in ethnography, ethnographic field, history of Russian ethnological studies, Siberian “regionalism”, Yulian Vladimirovich Bromley, collecting ethnography, functionality in ethnography.

**П**редставление об этнографическом поле и эмпирике как «хлебе науки» имманентно профессиональному сообществу. Пускай даже традици-

онное этнографическое поле этнокультурных реалий и говорящих «народностей» заменила «великолепная рутинная повседневность», оно по-прежнему составляет мифосимволический

стержень современной этнологии (поле как доступное немногим сокровенное знание) и предмет цеховой гордости.

Для большинства представителей этнологического цеха это отнюдь не подразумевает жесткого противопоставления эмпирики теоретическим обобщениям. Вместе с тем предполагается, что прежде чем заняться теоретизированием, необходимо поработать в поле. Более того, в этом видится исследовательская и человеческая скромность. В такой логике исследователь может состояться как теоретик или историограф лишь в зрелые годы, пройдя длинный путь эмпирических исследований в выбранной им научной области. Владимир Пименов характеризует это как издавна сложившуюся приверженность ведущих этнологов к изучению более или менее определенных регионов и (или) народов: «Каждый обосновывался в своем “научном уделе” и изучал его в течение более или менее длительного срока, достигая, как правило, весьма существенных результатов» [8, 13].

Отдельные исключения, выламывающиеся из цеховой традиции, например в лице мэтра советской этнографии Ю. В. Бромлея, отказавшегося в свое время от выбора «научного домена» (региона для эмпирических исследований) в пользу развития теоретических идей, лишь подтверждают генеральную закономерность.

Валерий Тишков формулирует закономерность, утверждая стратегию этнолога-полевого как безальтернативную: «Лично для меня лучшая теория добывается на полях полевых дневников, а не через автономное достраивание научных конструкций на кирпичиках частных исследований» [18, 7]. В устах директора профильного института формулировка приобретает характер почти директивный, с соответствующими оценочными суждениями и выводами. В интерпретации Тишкова этнолог может достичь серьезных научных результатов, *только* добывая первичное этнографическое знание в поле. Эта модель ученого жестко противопоставляется «теоретику-схоластику и компилятору».

Данная Тишковым комплиментарная оценка Юлиану Бромлею как «книжному этнографу» и при этом «прекрасному обобщающему аналитику» не более чем *ситуативная* уступка монументальным заслугам советского академика, который своими концептуализациями «этноса» помог «придать гораздо больше весомости предмету и тематике тогдашней этнографии», загнанной репрессиями 1930-х годов в «этногра-

фический кафтан XIX века». Вместе с тем историографические обобщения и теоретические конструкции Бромлея не состоялись бы без фактологического материала, собранного этнографами-полевыми [18, 6].

Стратегию этнолога-теоретика в чистом виде формулирует и одновременно воплощает своей научной биографией Юрий Семенов, философ и историк первобытности. Историк по базовому образованию, не имевший не только полевого опыта, но и основательной подготовки в области этнологии («на историческом факультете КГПИ этнография не только не изучалась, но по сути даже не упоминалась» [13, 182]), все свои знания в области этой науки приобретший путем самообразования, он тем не менее вполне состоялся как профессиональный этнограф.

Не отрицая важности сбора и накопления фактического материала – абсолютно необходимого условия существования науки, Семенов полагает, что эмпирический материал – это еще не сама наука в точном смысле слова. «Для того чтобы та или иная область знания стала настоящей наукой, настоятельно нужна теория. А теория не представляет собой ни простого индуктивного обобщения фактических данных, ни даже простой первичной их систематизации. Индукция относится к эмпирическому уровню научного познания. И не всякая систематизация представляет собой выход за пределы эмпирии» [13, 207–208], – пишет Семенов. В этом смысле «теоретические (курсив мой. – Т. С.) заметки на полях собственных полевых дневников» – это не более чем обобщающего характера соображения исследователя.

И главное, сбор материала и его теоретическое осмысление представляют собой не разные этапы (уровни), а «качественно отличные формы (курсив мой. – Т. С.) исследования, требующие далеко не одинаковых качеств. Поэтому прекрасный полевик вполне может оказаться совершенно неспособным к теоретическим конструкциям, а человек, никогда не работавший в поле, стать хорошим теоретиком» [13, 208].

Прошлое и настоящее этнологии подтверждает, скорее, множественность исследовательских стратегий (в том числе различных их комбинаций), нежели доминирование какой-то одной. Эффективность той или иной стратегии определяется научной результативностью. Даже если поле в новейших интерпретациях представляет собой «великолепную рутинную повседневность» (проще говоря, что вижу – о

том пою), то от чего зависит результативность полевой работы?

От остроты взгляда, способности добросовестно фиксировать факты и объективности исследователя – скажут девять из десяти представителей профессионального цеха. *Sine qua non* представляется тезис о том, что факт предшествует теории, а эмпирика – концептуализации. Однако в действительности это не более чем расхожее заблуждение. Факты вовсе не предшествуют теории, ученый приходит к фактам, уже имея теорию или гипотезу, которая может формулироваться открыто и последовательно. А может лишь подразумеваться. Именно теория направляет взгляд исследователя и вводит критерии того, что считать научными фактами, а что нет. В ином случае, то есть без предварительной теории, отбор фактов носит произвольный характер, и исследователь оказывается перед двойной опасностью: быть погребенным под монбланом фактов, не имеющих отношения к предмету исследования, или же упустить из виду факты, относящиеся к делу. Научных фактов вне теории вообще не существует.

Теория важна не только на этапе сбора эмпирического материала, но и на этапе его осмысления. Факты, не подвергшиеся теоретическому осмыслению, потеряны для науки. Из мозаики фактов и событий, как бы скрупулезно они ни фиксировались, вне концептуализации целостная картина может и не сложиться. И уж, конечно, никакая сумма частных решений или монографических описаний не породила еще теории даже среднего ранга.

В то же время любое научное решение частного вопроса предпринимается с определенной – эксплицитной или имплицитной – методологической позиции. Отправной точкой любого, даже самого узкого, исследования оказывается интеллектуальный конструкт – гипотеза или общая методологическая посылка. Подобно человеческому эмбриону этот конструкт в свернутом виде содержит все элементы будущей теории, и разовьется ли он в полноценную теорию – зависит от итогов операции верификации/фальсификации гипотезы, полноты источниковой базы, мастерства ученого и т. д. Хотя утверждение теоретической парадигмы есть результат коллективных усилий, у ее истоков стоят исследователи-одиночки, в лучшем случае – небольшие коллективы.

В связи с последним весьма интересен опыт «Этнографического бюро» кн. В. Н. Тени-

шева (1898–1901), предвосхитившего в России функционалистское направление этнологии. Пытавшийся организовать «Этнографическое бюро» как предприятие, Тенишев исходил из концептуальных предпосылок, близких или тождественных функционалистскому подходу: об обществе как целостности и специфическом функциональном предназначении в нем социальных групп, о связи их поведения с потребностями, об изучении социальных институтов с точки зрения их действительного значения для жизни людей, о практическом значении этнографии и этнографических знаний. Он предполагал этнографическим путем изучить самые массовые социальные группы *современного* ему общества – великорусское крестьянство и городские образованные слои. Хотя эта программа оказалась реализованной лишь частично – в плане изучения крестьянства, – питавшийся позитивистским пафосом акцент на *современности* (к исследованию пережитков Тенишев относился весьма скептически) выглядел новаторским для своего времени.

В связи с этим В. В. Пименов предположил, что существовало «несколько центров зарождения функционалистского течения в этнографии, в том числе и наиболее раннее – российское, самостоятельно возникшее и опередившее британцев на четверть столетия» [9, 81]. Это предположение небезосновательно в избранном Пименовым ракурсе истории научных *идей*, особенно если напомнить, что в германской науке основы функционального метода исследования были изложены Рихардом Турнвальдом на десять лет раньше, чем Б. К. Малиновским и А. Р. Рэдклифф-Брауном, считающимися основоположниками структурно-функционального подхода [6, 88]. Однако в перспективе науки как *института* критически важны институционализация идей, их способность вызвать научную динамику.

В этом отношении собранный «бюро» огромный материал оказался потоком систематизированных, но не получивших теоретического осмысления фактов, которые тем самым оказались потеряны для науки. Содержавшаяся в деятельности «Этнографического бюро» возможность концептуального прорыва не получила развития, по-прежнему преобладала традиционная интерпретация предмета этнографии как науки об «отсталых», первобытных народах или чертах первобытности у «культурных» народов [3, 122–123; 19, 403–406; 20, 15–27; 21, 38–48].

Но ведь и сама теория имеет отправной точкой индивидуальный дотеоретический опыт исследователя. Наши идейно-политические убеждения, наш культурный багаж и даже наш индивидуальный психологический профиль и личностный темперамент если не определяют жестко, то *предрасполагают* к выбору определенной исследовательской позиции. А уже в свою очередь, эта позиция предопределяет отбор фактов и формирование комплексов анализируемых фактов. Не только изначальный импульс, движущий ученым в его познавательном акте, субъективен, но и оптика исследовательского взгляда глубоко субъективна [16, 182].

По существу, это означает, что теория, задавая угол зрения и структурируя наше восприятие действительности, формирует предметное поле науки.

Так, рациональный XVIII в. сфокусировал внимание исследователей на функциональном изучении пространства Российской империи. В такой оптике знание о народах чаще всего оказывалось неотъемлемой частью триединого описания *пространства*: природы, территории и населения. Это тримодальное знание не было дифференцировано, поскольку его организация носила проблемный характер, будучи нацеленной на познание, описание и освоение российского *пространства как целостности*, причем целостности, воспринимаемой рационально, а не метафизической. В этой интеллектуальной перспективе описывавшиеся народы воспринимались скорее как *атрибут* пространства, *элемент природного ландшафта*, то есть их исследование было частью изучения и освоения пространства, а не самостоятельной научной задачей. (Вероятно, такой подход отчасти был навеян влиятельными в ту эпоху взглядами Монтеスキё, рассматривавшего народный дух как эпифеномен природно-климатических условий.) Классификация и описание *нерусских* народов были составной частью освоения и колонизации России русскими (кстати, сама классификация разрабатывалась состоящими в России на службе немецкими учеными), в то время как сами русские стали объектом подобного изучения значительно позже.

Во второй четверти XIX в. общественно-политический (идеология С. С. Уварова, славянофилы) и научный (Н. И. Надеждин) дискурс о «народности» направил внимание исследователей на изучение русской народности и, по сути, создал поле собирательской этнографии [14, 70–76]. Ничем иным, кроме следования

официальной идеологической установке – сконструировать образ «благородного и верноподданнического» русского народа, – нельзя объяснить интерес профессора кафедры римских древностей И. М. Снегирева к «простонародной личине» великорусского пахаря, как нельзя объяснить экзальтированный восторг датчанина и протестанта В. И. Даля по поводу русскости, реализующей себя в фольклорных формах. В данном случае официальная линия и образованная публика совпадали в своем интересе к русскости, о чем свидетельствует громкий общественный успех дилетантских и отчасти фальсифицированных работ И. П. Сахарова, в тени которых оказались труды Снегирева. Эти сомнительные сочинения оказались, что называется, на злобу дня, удовлетворив новый культурный и интеллектуальный запрос: «Они поражали обилием материала, частью совсем нового, неизвестного; содержание их отвечало уже ясно ощущавшейся в образованном обществе потребности в познании своего народа» [19, 199]. Эта данная Токаревым оценка работ Сахарова в значительной мере применима и к творчеству Снегирева.

Или возьмем, к примеру, плеяду сибирских «областников» в лице Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, А. В. Адрианова. Индивидуальный дотеоретический опыт и гуманистические презумпции – желание «вывести Сибирь из положения Российской империи на путь процветания и прогресса» – структурировали их взгляд на инородческий вопрос и конструировали поле, где исследователи черпали факты о «вымирании» сибирских народов. Совершенно не важно, как это соотносилось с действительностью. А по оценкам крупного советского этнограф-сибироведа Б. О. Долгих, два крупнейших аборигенных народа Сибири – якуты и буряты – выросли с середины XVII по конец XIX в. в 10 (!) раз, а все коренное население Сибири за этот период – почти в четыре раза [4, 42]. В картине мира «областников» поле – это изучение жизни малых сибирских народов, защита их интересов и прав. Не потому ли сибиреведы ругательски ругали «русский империализм» и превозносили инородцев, что утратили всякую связь с собственным народом, который находился за пределами их этнографического поля.

Эмпирик, изучавший советскую повседневность, в зависимости от мировоззренческой установки и имеющихся теоретических оснований обнаруживал в ней факты, свидетельствующие об «империалистических потугах» руссоцентрич-

ной империи, или, напротив, о гармоничном сожительстве социалистических наций и советской дружбе народов. И лишь исключительно редко он осмеливался аккумулировать факты, рисующие возрастающее тяжкое бремя русских и их жертвенную роль, институциональную неполноценность РСФСР и проявления «пробивающегося из-под глыб русского самосознания».

Если вопрос о единственности/множественности исследовательских стратегий и их результативности в этнологии время от времени дискутируется профессиональным сообществом, то «за кадром» неизменно остается вопрос о мотивах выбора той или иной стратегии. Этот выбор чаще всего относят за счет влияния внешних *объективных* обстоятельств, включая уровень развития науки, тип образования и социализации, господствующие общественно-политические и культурно-ценностные презумпции. Так обосновывается закономерность и неизбежность того или иного выбора. Вот и Владимир Пименов, характеризуя теоретический крен в биографии Юлиана Бромлея, интерпретирует это не как свободный волевой импульс исследователя или проявление его исследовательских предпочтений, а как выражение «закономерной тенденции имманентного развития науки» [8, 14].

Историограф, зная результат (состоявшуюся научную биографию великого предшественника, будь то этнограф-полевик или «книжный этнограф»), реконструирует причины, приведшие к такому – *закономерному* – результату.

В действительности конstellация внешних обстоятельств мало что объясняет. Например, Николай Миклухо-Маклай и Дмитрий Анучин, при поразительной схожести этих обстоятельств, включая даже некоторые личностные коллизии, реализовали себя в принципиально различных исследовательских стратегиях. Представители одного поколения (Анучин всего тремя годами старше), схожего происхождения, по совпадению рано осиротевшие, одного типа социализации и образования (медицинского, естественнонаучного), общего типа мировоззрения (прогрессистского, эволюционистского), а жизненные вектора так разошлись. Анучин – классический кабинетный ученый – стал крупным организатором науки, способствовавшим институционализации антропологии, этнологии, географии и археологии, введя их в круг университетских и академических дисциплин. Миклухо-Маклай целиком ушел в полевую работу, причем

его стратегия исследователя-одиночки, вживающегося в туземную среду на крайней периферии «цивилизованных» обществ, оказалась бы избыточной даже фанатам этнографического поля.

С высоты сегодняшнего дня исследовательским работам Д. Н. Анучина – безусловно, ценным для его времени – отведено место преимущественно в истории науки. Ретроспективно фундаментальной заслугой Анучина выглядят не его исследования, чье значение исторически преходяще, а исключительная роль ученого в *институционализации* антропологии, археологии, географии и этнографии.

Решающая роль Анучина в формировании современного облика ряда научных дисциплин заставляет с особым тщанием всматриваться в биографию ученого, пытаясь обнаружить в индивидуальных мотивах и действиях проявление более широких закономерностей, влияние интеллектуального и духовного климата эпохи. Судьба Д. Н. Анучина испещрена знаками времени. Вместе с тем его научная и человеческая биография в существенной степени стала реализацией его индивидуальных склонностей, особенностей психотипа, личностного темперамента, проекцией *бессознательного тяготения* к определенным формам деятельности. О каких индивидуальных склонностях идет речь? В каких именно формах деятельности Анучин реализовал себя особенно успешно?

Будучи хорошо осведомленным в современных ему научных теориях, сам Анучин никогда не был выдающимся теоретиком в одной из тех дисциплин – антропологии, археологии, географии и этнографии, – которыми увлеченно и плодотворно занимался многие годы. Более того, на подобную роль он никогда и не претендовал, поскольку к любым масштабным теоретическим построениям относился скептически, предпочитая им строго фактологические исследования, где в полной мере проявлялась его феноменальная память, о которой с восторгом упоминали современники. По словам В. В. Бунака, «теоретические построения играли крайне малую роль в <...> научной деятельности» Анучина, зато он «обладал исключительной способностью отчетливого восприятия единичных конкретностей, которые, благодаря его выдающейся памяти, существовали для него независимо от каких-либо теоретических систем» [1, 5].

Эта характеристика, данная Анучину его учеником, точно акцентировала *индивидуальную* черту ученого, интеллектуальная позиция кото-

рого нашла методологическое основание в позитивизме.

Биографы традиционно отмечали поистине феноменальную широту научных интересов и работоспособность Анучина. Исследовательскую работу Анучин сочетал с обширной преподавательской и методической нагрузкой (число читавшихся им курсов достигало двух десятков, причем многие из них были пионерными), колоссальной организационной, редакционно-издательской и популяризаторско-просветительской работой.

Идя по пути расширения – когда добровольно, а когда и под влиянием обстоятельств – круга своих научных интересов, Анучин нередко проигрывал в исследовательской глубине, свойственной ученым, всю жизнь специализирующимся в одной предметной области или даже по одной теме. Однако оборотной стороной этой «разбросанности» – еще одной *индивидуальной* особенности ученого – оказывалась возможность разностороннего подхода, взгляда на один объект с разных точек зрения, с позиции различных научных дисциплин. Младшие современники ученого отмечали присущее ему «чувство широкой перспективы, которого зачастую не хватает людям, зарывшимся с головой в отдельные специальные вопросы» [5, 2].

Со своей принципиальной внепартийностью и подчеркнутой лояльностью по отношению к власти как таковой – императорской или большевистской, не важно, – Анучин явно выпадал из идеологически воспаленного отечественного контекста конца XIX – начала XX в., что заслужило ученому устойчивую неприязнь более политизированных коллег и не самую лучшую репутацию в тогдашнем образованном обществе. Вместе с тем он не был ученым жрецом и не жил в «башне из слоновой кости». Его *индивидуальная* социальная позиция обеспечила такой взгляд на природу российской власти, в оптике которого власть оказывалась хороша или плоха лишь настолько, насколько она способствовала или препятствовала развитию науки. Активное сотрудничество Анучина с Советами объяснялось не идейной ангажированностью, а тем, что новая власть целенаправленно и активно поддерживала науку.

Обобщая, можно сказать, что глубинное основание личности исследователя составил мощный гражданский (социальный) инстинкт. А его успешная реализация была обеспечена базовыми психологическими характеристиками

Д. Н. Анучина, к коим можно отнести гибкость, пластичность (не значит беспринципность и еще менее бесхребетность), высокую адаптивность, способность к коммуникации. Благодаря чему на каждом повороте жизненного пути, будучи поставлен в принципиально новые обстоятельства (а исследователю приходилось не раз менять сферы научной деятельности, подчас радикально), он неизменно проявлял себя эффективным организатором, талантливым педагогом и успешным популяризатором науки.

Не оставленный при кафедре талантливый выпускник университета, чью главную страсть составляла антропология, по приглашению одного из своих университетских профессоров, С. А. Усова, он занял должность ученого секретаря Общества акклиматизации животных и растений. Деятельность общества была тесно связана с первым в России московским Зоологическим садом, основанным в 1864 г. и существовавшим на добровольные пожертвования. На этой должности Анучин впервые проявил присущий ему организаторский талант, наладив доставку редких животных из Африки, Сибири и Средней Азии, их успешную акклиматизацию и содержание в неволе.

Созданию институциональных оснований антропологии в России и становлению антропологического образования в Московском университете Анучин отдал без малого десять лет (1876–1884). Даже когда кафедра антропологии была «похоронена» университетским Уставом 1884 г., он считал своей нравственной обязанностью продолжать начатое дело.

Одновременно Анучин был назначен экстраординарным профессором по новой кафедре – географии и этнографии – и занимал ее бессменно вплоть до 1919 г. Экстренная переквалификация состоявшегося антрополога в географа-неофита (из более 60 статей, опубликованных Анучиным к 1884 году, лишь одна – небольшая заметка «Жертвы американской полярной экспедиции “Жанетты”» – каким-то боком относилась к географии) объяснялась почти полным отсутствием в тогдашней России кадров профессиональных географов. Однако сама эта переквалификация оказалась возможна благодаря *внутренней готовности* Анучина принять это изменение и в очередной раз реализовать организаторский потенциал, а также гражданский инстинкт.

Что касается современника Анучина Н. Н. Миклухо-Маклая, то его выбор в пользу

полевой исследовательской стратегии, по всей вероятности, определялся не столько миссией защиты туземцев или устойчивым научным интересом, сколько собственным культурно-психологическим профилем. В его случае можно явно проследить, как личностный темперамент и индивидуальные психологические особенности предопределили исследовательские интересы и научный стиль. Традиционное перечисление биографических вех способно лишь дать намек на эту важную связь, но не раскрывает ее в полной мере.

Биографы Маклая, в том числе знавшие его лично, выделяли в качестве конституирующих черт его личности тягу к одиночеству, энергию и независимость. Трудно сказать, что именно дало толчок их развитию и превращению в доминирующие качества характера. Возможно, первопричиной послужила ранняя потеря отца. По крайней мере, француз Г. Моно, лично знавший Миклухо-Маклая и посвятивший ему пространственный и комплиментарный очерк, прямо утверждал: «Смерть отца значительно способствовала тому, что в нем развились склонность к одиночеству и вместе с тем энергия и независимость характера» [10, 104]. Вероятно, в жизни Миклухо-Маклая были и другие обстоятельства, усугубившие последствия детской травмы. В любом случае, очень похоже, что именно тяга к одиночеству, доходившая до антропологического пессимизма, составляла экзистенциальный стержень Маклая.

Неслучайно его любимым автором был мрачный А. Шопенгауэр, что было отнюдь не только данью культурной моде. По словам биографа, психологическое сродство с Шопенгауэром «Миклухо-Маклай обнаруживал и в предпочтении одиночества, в особенной нервной раздражительности, не терпевшей шума и резких воздействий» [10, 96]. Это характерное для Маклая психическое состояние можно охарактеризовать как болезненное, хотя и нельзя называть болезнью в медицинском смысле.

Доминантная психологическая черта – тяга к одиночеству – решительно повлияла на жизнь и исследовательскую деятельность Маклая. Складывается впечатление, что избранная им научная стратегия – жизнь в одиночестве среди дикарей, вращение в их среду – была не столько сознательным выбором ученого, сколько бессознательно предопределялась его психологическим профилем. Вот характерная дневниковая запись Маклая, относящаяся ко времени его первого пре-

бывания на Новой Гвинее: «Я так доволен в своем одиночестве! Встреча с людьми для меня хотя не в тягость, но они для меня почти что лишние. <...> Мне кажется, что если бы не болезнь, я здесь не прочь был бы остаться навсегда, т. е. не возвращаться никогда в Европу» [10, 14].

В культурно-психологическом плане приход Маклая к папуасам был его бегством – возможно, не до конца осознаваемым им самим – от западной цивилизации. Он выбрал папуасов в качестве объекта изучения именно потому, что усматривал в них наиболее полную антитезу современной ему цивилизации – самое дикое, самое первобытное племя. В письме матери Маклай писал о выпавшем на его долю «счастье <...> наблюдать и жить посреди самого первобытного из человеческих племен» [10, 13]. Другими словами, научные интересы Маклая вытекали не из науки *per se*, а из его личного культурного опыта и психологического профиля, которые не просто предшествовали акту научного выбора, но и предопределили этот выбор.

Научная стратегия ученого – стационарный метод, одиночество среди папуасов, многомесячное вживание в туземную среду – была в подлинном смысле слова подвижнической и даже героической. Редко кто из его современников дерзал совершать столь сложные и длительные экспедиции в одиночку. Например, в тибетской экспедиции Н. Пржевальского (1879–1880) участвовало двенадцать человек. Все морские путешествия носили характер комплексных экспедиций и насчитывали изрядное число участников. Однако для Маклая подобные коллективные предприятия были исключены по причинам, в первую очередь, психологическим. Корабли служили для него лишь средством доставки к цели, но члены экипажей в собственно полевой работе не участвовали. После высадки на берег Маклай на долгие месяцы оставался один на один с совершенно чужой ему средой, не имея даже малейшего шанса получить помощь извне.

В исследовательском отношении Маклай был классическим эмпириком и полевым исследователем. Однако в силу индивидуальных психологических особенностей он явил миру и науке весьма редкий образец полевого исследователя-одиночки. Вряд ли можно утверждать, что стратегия полевика-одиночки оказалась более плодотворной, чем работа в команде. И уж совершенно точно, она безвозвратно разрушила здоровье Маклая. Из-за подорванного здоровья он не успел издать и обобщающий научный труд.

Хотя в силу методологических самоограничений Маклая теоретическая цена подобной работы вряд ли была бы высокой, из-под его пера, тем не менее, мог выйти достойный фактографический труд. Но в итоге так и не вышел. Блистательное отсутствие серьезных научных исследований не позволяет назвать Маклая выдающимся ученым в точном смысле этого слова. Каковы же в таком случае были итоги его трудов и дней?

Посвятив себя служению одному из наиболее отсталых племен мировой периферии, Маклай проявил редкое самопожертвование. Его гуманное отношение к папуасам оставило глубокий след в их коллективной памяти и в какой-то степени (хотя вряд ли столь уж существенно) повлияло на современников.

Правда, при этом не следует забывать, что тяга к папуасам составляла оборотную сторону отвращения Маклая к современной ему запад-

ной цивилизации. В психологическом плане его экспедиция к первобытным племенам была, в первую очередь, формой эскапизма, а не цивилизаторской миссией.

Получается, что так называемые объективные обстоятельства сами по себе мало что значат, если не проходят через цепь опосредований, в первую очередь – через человеческую психику. Выбор той или иной стратегии – в жизни ли, в науке ли – представляет собой бессознательное тяготение, реализацию индивидуального психологического профиля. Полагаю, насилие над собой в этом смысле возвращается отсроченной реакцией в виде стойкого ощущения неполноценной самореализации.

Сибиревед А. В. Адрианов писал о себе в конце жизни: «До 60 лет я прожил, а ни на чем не остановился, ничем основательно не занялся и никакого следа от себя не оставлю» [2, 51].

## Библиография:

1. Бунак В. В. Деятельность Д. Н. Анучина в области антропологии // Русский антропологический журнал. 1924. Т. 13. Вып. 3–4. С. 3–11.
2. Дэвлет М. А. А. В. Адрианов как этнограф // Репрессированные этнографы. М.: «Восточная литература» РАН, 1999. С. 9–57.
3. Журавлева Л. С. К истории публикации «Программы» В. Н. Тенишева // Советская этнография. 1979. № 1. С. 122–123.
4. Крупник И. И. Культурные контакты и их демографические последствия в районе Берингова пролива // Америка после Колумба: взаимодействие двух миров. М.: Наука, 1992. С. 30–47.
5. Максимов А. Н. «Разбросанность» в науке // Русские ведомости. 1913. № 197. С. 3–5.
6. Марков Г. Е. Очерки истории немецкой науки о народах. Часть I. Немецкая этнология. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1993. 253 с.
7. Марков Г. Е. Немецкая этнология: Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2004. 576 с.
8. Пименов В. В. Понятие «этнос» в теоретической концепции Ю. В. Бромлей // Академик Ю. В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С. Я. Козлов; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 2003. С. 12–18.
9. Пименов В. В. Труд ради науки // Благодарим судьбу за встречу с ним. (О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1995. С. 70–83.
10. Путилов Б. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы биографии. М.: Наука, 1981. 213 с.
11. Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. I. Общий обзор изучений народности и этнография великорусская. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1890. 424 с.
12. Репрессированные этнографы. Вып. I. Сост. Д. Д. Тумаркин. М.: «Восточная литература» РАН, 1999. 343 с.
13. Семенов Ю. И. О моем «пути в первобытность» // Академик Ю. В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С. Я. Козлов; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 2003. С. 164–212.
14. Соловей Т. Д. Власть и наука в России. Очерки университетской этнографии в дисциплинарном контексте (XIX – начало XXI вв.). М.: Прометей, 2004. 498 с.
15. Соловей Т. Д. Советский миф о «культурном герое» // Родина. 2011. № 8. С. 125–129.
16. Соловей Т. Д. Объективность исторической науки как культурный миф // Может ли история быть объективной? Материалы международной научной конференции, г. Москва, 2 декабря 2011 г. / Труды исторического факультета МГУ (54). Исторические исследования (19). М.: МГУ, 2012. С. 179–189.
17. Соловей Т. Д. Между политикой и наукой: этнографическое знание в XVIII веке // Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем. К юбилею доктора исторических наук, профессора Клавдии Ивановны Козловой. Сб. научных статей. Труды исторического факультета МГУ (57). Серия 2. Исторические исследования (22). М.: МГУ, 2012. С. 322–336.
18. Тишков В. А. О Ю. В. Бромлее // Академик Ю. В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С. Я. Козлов; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 2003. С. 5–10.
19. Токарев С. А. История русской этнографии. (Дооктябрьский период). М.: Наука, 1966. 454 с.
20. Фирсов Б. М. Теоретические взгляды В. Н. Тенишева // Советская этнография. 1988. № 3. С. 15–27.
21. Фирсов Б. М. Крестьянская программа В. Н. Тенишева и некоторые результаты ее реализации // Советская этнография. 1988. № 4. С. 38–48.

**References (transliterated):**

1. Bunak V. V. Deyatel'nost' D. N. Anuchina v oblasti antropologii // Russkii antropologicheskii zhurnal. 1924. T. 13. Vyp. 3–4. S. 3–11.
2. Devlet M. A. A. V. Adrianov kak etnograf // Repressirovannye etnografy. M.: «Vostochnaya literatura» RAN, 1999. S. 9–57.
3. Zhuravleva L. S. K istorii publikatsii «Programmy» V. N. Tenisheva // Sovetskaya etnografiya. 1979. № 1. S. 122–123.
4. Krupnik I. I. Kul'turnye kontakty i ikh demograficheskie posledstviya v raione Beringova proliva // Amerika posle Kolumba: vzaimodeistvie dvukh mirov. M.: Nauka, 1992. S. 30–47.
5. Maksimov A. N. «Razbrosannost'» v nauke // Russkie vedomosti. 1913. № 197. S. 3–5.
6. Markov G. E. Ocherki istorii nemetskoj nauki o narodakh. Chast' I. Nemetskaya etnologiya. M.: Institut etnologii i antropologii RAN, 1993. 253 s.
7. Markov G. E. Nemetskaya etnologiya: Uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: Akademicheskii proekt; Gaudeamus, 2004. 576 s.
8. Pimenov V. V. Ponyatie «etnos» v teoreticheskoi kontseptsii Yu. V. Bromleya // Akademik Yu. V. Bromlei i otechestvennaya etnologiya. 1960–1990-e gody / Otv. red. S. Ya. Kozlov; Institut etnologii i antropologii im. N. N. Miklukho-Maklaya. M.: Nauka, 2003. S. 12–18.
9. Pimenov V. V. Trud radi nauki // Blagodarim sud'bu za vstrechu s nim. (O Sergee Aleksandroviche Tokareve – uchenom i cheloveke). M.: Institut etnologii i antropologii RAN, 1995. S. 70–83.
10. Putilov B. N. Nikolai Nikolaevich Miklukho-Maklai. Stranitsy biografii. M.: Nauka, 1981. 213 s.
11. Pypin A. N. Istoriya russkoi etnografii. T. I. Obshchii obzor izuchenii narodnosti i etnografiya velikorusskaya. SPb.: Tipografiya M. M. Stasyulevicha, 1890. 424 s.
12. Repressirovannye etnografy. Vyp. I. Sost. D. D. Tumarkin. M.: «Vostochnaya literatura» RAN, 1999. 343 s.
13. Semenov Yu. I. O moem «puti v pervobytnost'» // Akademik Yu. V. Bromlei i otechestvennaya etnologiya. 1960–1990-e gody / Otv. red. S. Ya. Kozlov; Institut etnologii i antropologii im. N. N. Miklukho-Maklaya. M.: Nauka, 2003. S. 164–212.
14. Solovei T. D. Vlast' i nauka v Rossii. Ocherki universitetskoi etnografii v distsiplinarnom kontekste (XIX – nachalo XXI vv.). M.: Prometei, 2004. 498 s.
15. Solovei T. D. Sovetskii mif o «kul'turnom geroe» // Rodina. 2011. № 8. S. 125–129.
16. Solovei T. D. Ob"ektivnost' istoricheskoi nauki kak kul'turnyi mif // Mozhet li istoriya byt' ob"ektivnoi? Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, g. Moskva, 2 dekabrya 2011 g. / Trudy istoricheskogo fakul'teta MGU (54). Istoricheskie issledovaniya (19). M.: MGU, 2012. S. 179–189.
17. Solovei T. D. Mezhdunarodnye politiki i nauki: etnograficheskoe znanie v XVIII veke // Etnokul'turnye protsessy v proshlom i nastoyashchem. K yubileyu doktora istoricheskikh nauk, professora Klavdii Ivanovny Kozlovoi. Sb. nauchnykh statei. Trudy istoricheskogo fakul'teta MGU (57). Seriya 2. Istoricheskie issledovaniya (22). M.: MGU, 2012. S. 322–336.
18. Tishkov V. A. O Yu. V. Bromlee // Akademik Yu. V. Bromlei i otechestvennaya etnologiya. 1960–1990-e gody / Otv. red. S. Ya. Kozlov; Institut etnologii i antropologii im. N. N. Miklukho-Maklaya. M.: Nauka, 2003. S. 5–10.
19. Tokarev S. A. Istoriya russkoi etnografii. (Dooktyabr'skii period). M.: Nauka, 1966. 454 s.
20. Firsov B. M. Teoreticheskie vzglyady V. N. Tenisheva // Sovetskaya etnografiya. 1988. № 3. S. 15–27.
21. Firsov B. M. Krest'yanskaya programma V. N. Tenisheva i nekotorye rezul'taty ee realizatsii // Sovetskaya etnografiya. 1988. № 4. S. 38–48.